

Владимир Николаевич Захаров

доктор филол. наук, профессор кафедры русской литературы
и журналистики, Петрозаводский государственный университет
(Петрозаводск, пр. Ленина, 33, Российская Федерация)
vnz01@yandex.ru

ПОЭТИКА ХРОНОТОПА В «ЗИМНИХ ЗАМЕТКАХ О ЛЕТНИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ» ДОСТОЕВСКОГО*

Аннотация: Летом 1862 года Достоевский совершил первое заграничное путешествие по Европе. Это путешествие отразилось в его фельетоне «Зимние заметки о летних впечатлениях» (1863), в мемуарах и в эпистолярной литературе самого автора и других лиц. В ряде случаев можно описать путешествие Достоевского не только по дням, но и по часам. Художественный хронотоп разительно отличается от реального путешествия. Достоевский лишь обозначил факты: описал свои размышления во время переездов, дал случайные путевые заметки, подробно рассказал о парижских и лондонских впечатлениях, скрыл свой визит к Герцену и философский спор со Страховым. В «Зимних заметках» нет «туристических» описаний. Повествование развивается в двух измерениях времени и пространства: «летом» и «зимой», в Европе и в России, в Лондоне-Париже и в Петербурге, в «европейской» и в «русской» Европе. Ключевая проблема «Зимних заметок» — проблема «русского отношения» к Европе, которая осознана как проблема выбора исторического пути России. Достоевский создал сатирический образ буржуазной Европы. Автор предложил свою альтернативу принципам 1789 года. Его пафос задан христианской проповедью. Достоевский надеялся, что в следовании Нагорной проповеди состоит исход русского пути.

Ключевые слова: Достоевский, Бахтин, путешествие, очерк, фельетон, поэтика жанра, хронотоп, парадокс, христианская проповедь

Достоевский много путешествовал. В детстве и отрочестве это были поездки с родителями и родственниками на Плещеево озеро, из Москвы в подмосковное имение Даровое и обратно, ежегодные, вплоть до 1837 г., паломничества в Свято-Троицкую Лавру, в юности — путешествие из Москвы в Петербург вместе с отцом и братом в мае 1837 г., далее поездки по личным и казенным надобностям в 1840-е гг. к брату из Петербурга в Ревель, из Петербурга в Тобольск и Омский острог, оттуда в Семипалатинск, поездки по Сибири (Змеиногорск, Барнаул, Кузнецк), в 1859 г. из Сибири в Тверь, потом в Петербург, регулярные поездки из Петербурга в Москву, во Владимир — и обратно

в Петербург, его путешествия и скитания по Европе и России в 1860—1870-е гг.

Все его путешествия проходили в реальном историческом времени и пространстве. Одно из них — еще и в художественном хронотопе¹.

В юности Достоевский мечтал побывать в Европе. Это были воображаемые, вызванные чтением книг литературные путешествия.

Проект реального путешествия по Европе возник у писателя в сороковые годы. Осенью 1846 г. он собирался в Австрию, Италию и Францию, но не нашел, где взять деньги, так что первое свое путешествие за границу он совершил пятнадцать лет спустя — с 7 июня по 24 августа 1862 г.

Это путешествие отразилось в эпистолярном наследии и мемуаристике разных лиц (самого Достоевского, его брата Михаила, А. Герцена и его корреспондентов, Н. Страхова), в отчетах тайных агентов. Оно хорошо документировано, сохранился заграничный паспорт путешественника с многочисленными отметками. Есть документальное исследование М. Брусовани и Р. Гальпериной о заграничных путешествиях Достоевского 1862—1863 гг. [2, 272—292]. В ряде случаев можно расписать путевые разъезды Достоевского не только по дням, но и по часам.

Собираясь за рубеж, Достоевский составил план, как добраться до цели — до Парижа:

Дрезден

Франкфурт am Mein

Гейдельберг

Мангейм

От Мангейма по Рейну до Кельна

Из Кельна в Брюссель

Париж (ЛН1971, 156)².

Летом 1862 г., вскоре после майских петербургских пожаров, закончив публикацию «Записок из Мертвого Дома» в журнале «Время», Достоевский отправляется в первое свое заграничное путешествие.

7/19 июня в 8 часов утра Достоевский выехал из Петербурга, добирался до Берлина двое суток, через сутки отправился в Дрезден, на следующий день в течение 18 часов переехал из Дрездена во Франкфурт, день пробовал играть в Баден-Бадене, возвратился во Франкфурт, 14/26 июня через Гейдельберг и Баден-Баден отправился в Майнц, пароходом добрался в Кёльн, оттуда по железной дороге в Париж, куда он приехал 16/28 июня.

В Париже Достоевский пробыл месяц, выехав на восемь дней в Лондон.

16/28 июля он покинул Париж, на следующий день прибыл в Кельн, оттуда в Дюссельдорф, далее по Рейну на пароходе добрался до Майнца, откуда по железной дороге прибыл в Базель, на следующий день 21 июля/2 августа приехал в Женеву.

22 июля/3 августа Достоевский встретился со Страховым, с которым в течение трех недель путешествовал по Швейцарии и Италии, поссорился с ним во Флоренции; оба разными маршрутами вернулись на родину.

24 августа/5 сентября Достоевский прибыл в Петербург.

Два с половиной месяца Достоевский провел в разъездах по Европе, во время которых было лишь несколько длительных остановок: неделю он провел в Лондоне, три недели был в Париже, полторы недели — во Флоренции. В других местах — остановки на несколько часов, на сутки, не более.

Он многое увидел за время утомительных разъездов и остановок в Париже, Лондоне, Женеве, Флоренции.

Брат, сотрудники журнала ждали от Достоевского «писем из заграницы».

Да написал бы ты в Париже что-нибудь для «Времени». Хоть бы письма из заграницы. Если в самом деле будешь писать, пиши ценсурнее (Д18; 16.2, 348).

Достоевский не отказывался от своих литературных обязанностей, но мешал «туризм».

В реальном путешествии он сознавал себя «простым туристом», охваченным жадой впечатлений, в чем признается в письме Страхову из Парижа, отправленном накануне отъезда к Герцену в Лондон:

Мне приходится еще некоторое время пробыть в Париже и потому хочу не теряя времени обозреть и изучить его не ленись, сколько возможно для простого туриста, каков я есмь. Не знаю, напишу ли что-нибудь? Если очень захочется почему не написать и о Париже, но вот беда: Времени тоже нет. Для порядочного письма из за границы нужно всё-таки дня три труда, а где здесь взять три дня? (Д18; 15.2, 23).

Достоевский в конце концов исполнил обещание: его путешествие стало литературным фактом — он написал «Зимние заметки о летних впечатлениях».

Автор с иронией описывает свое путешествие в «фельетоне за всё лето», как названо это сочинение в журнальной редакции.

Начав описывать, он тут же отвергает жанровые ожидания читателя:

...мне-то особенно нечего рассказывать, а уж тем более в порядке записывать, потому что я сам ничего не видал в порядке, а если что и видел, так не успел разглядеть (Д18; 4, 311).

А как автор описывает то, что видел и успел разглядеть?

С сарказмом в фельетонном стиле («говорю вздор») Достоевский рассказывает, как «двое суток скакал по чугунке», почему ему не понравился Берлин и он «поскорее улизнул» в Дрезден, а там ему не понравились немки. Ссылаясь на болезнь, пишет:

...я, больной человек, страдающий печенью, двое суток скакал по чугунке, сквозь дождь и туман до Берлина, и приехав в него, не выспавшись, желтый, усталый, изломанный, вдруг с первого взгляда заметил, что Берлин до невероятности похож на Петербург. Те же кордонные улицы, те же запахи, те же... (а впрочем не пересчитывать же всего того же)! Фу ты, Бог мой, — думал я про себя: — стоило ж себя двое суток в вагоне ломать, чтоб увидеть то же самое, от чего ускакал? Даже липы мне не понравились, а ведь за сохранение их берлинец пожертвует всем из самого дорогого, даже может быть своей конституцией; а уж чего дороже берлинцу его конституции? К тому же сами берлинцы, все до единого, смотрели такими немцами, что я, не посягнув даже и на фрески Каульбаха (о ужас!) поскорее улизнул в Дрезден, питая

глубочайшее убеждение в душе, что к немцу надо особенно при-
выкать, и что с непривычки его весьма трудно выносить в боль-
ших массах (Д18; 4, 312).

Автор намеренно скандализует свои путевые впечатле-
ния:

А в Дрездене я даже и перед немками провинился: мне вдруг
вообразилось, только что я вышел на улицу, что ничего нет про-
тивнее типа дрезденских женщин и что сам певец любви, Всево-
лод Крестовский, самый убежденный и самый развеселый из рус-
ских поэтов, совершенно бы здесь потерялся и даже может быть
усомнился бы в своем призвании. Я конечно в ту же минуту по-
чувствовал, что говорю вздор и что усомниться в своем призва-
нии он не мог бы даже ни при каких обстоятельствах. Через два
часа мне все объяснилось: воротясь в свой номер в гостинице
и высунув свой язык перед зеркалом, я убедился, что мое сужде-
ние о дрезденских дамах похоже на самую черную клевету. Язык
мой был желтый, злокачественный... «И неужели, неужели чело-
век, сей царь природы, до такой степени весь зависит от собствен-
ной своей печени, — подумал я, — что за низость!» (Д18; 4, 312).

Той же «болезнью» автор объясняет, почему ему не понравился
Кельнский собор:

С этими утешительными мыслями я отправился в Кельн. При-
знаюсь я много ожидал от собора; я с благоговением чертил его
еще в юности, когда учился архитектуре. В обратный проезд мой
через Кельн, то есть месяц спустя, когда, возвращаясь из Парижа,
я увидел собор во второй раз, я было хотел «на коленях просить
у него прощения» за то, что не постиг в первый раз его красоту,
точь-в-точь как Карамзин с такою же целью становившийся на ко-
лени перед рейнским водопадом. Но тем не менее в этот первый
раз собор мне вовсе не понравился: мне показалось, что это толь-
ко кружево, кружево и одно только кружево, галантерейная ве-
щица вроде пресс-папье на письменный стол, сажена в семьдесят
высотой. «Величественного мало, — решил я, точно так как в ста-
рину наши деды решали про Пушкина: — легко дескать слишком
сочиняет, мало высокого». <...> Теперь рассудите сами: преодолей
я себя, пробудь я в Берлине не день, а неделю, в Дрездене столько
же, на Кельн положите хоть три дня, ну хоть два и я наверно в дру-

гой, в третий раз взглянул бы на те же предметы другими глазами и составил бы об них более приличное понятие. Даже луч солнца, простой какой-нибудь луч солнца, тут много значил: сияй он над собором, как и сиял он во второй мой приезд в город Кельн, и здание наверно бы мне показалось в настоящем своем свете, а не так как в то пасмурное и даже несколько дождливое утро, которое способно было вызвать во мне одну только вспышку уязвленного патриотизма. Хотя из этого впрочем вовсе не следует, что патриотизм рождается только при дурной погоде. Итак вы видите, друзья мои: в два с половиною месяца нельзя верно всего разглядеть и я не могу доставить вам самых точных сведений. Я поневоле иногда должен говорить неправду, а потому... (Д18; 4, 313—314).

В казуистическом диалоге автор стоваривается с читателем, что точные сведения тот найдет в гиде Рейхарда, а себе выговаривает право на «только собственные, но искренние мои наблюдения», на «простую болтовню, легкие очерки, личные впечатления, схваченные на лету», на простодушие и неизбежные «ошибки» в суждениях.

Перечисляя места, где он был, сам удивляется:

Я был в Берлине, в Дрездене, в Висбадене, в Баден-Бадене, в Кельне, в Париже, в Лондоне, в Люцерне, в Женеве, в Генуе, во Флоренции, в Милане, в Венеции, в Вене, да еще в иных местах по два раза и все это, все это я объехал ровно в два с половиною месяца! (Д18; 4, 311).

Он деланно досадует:

...почти ведь везде побывал, а в Риме например, так и не был.

А в Риме я бы может быть пропустил папу... (Д18; 4, 311—312).

И так везде: вместо описания путешествия следуют суждение, замечание мельком, два-три предложения, редко абзац, лишь две столицы удастаиваются подробного обсуждения, и это мнимые описания: вместо очерка — пространные рассуждения на «нежанровые» темы.

Достоевский не обо всём мог и хотел писать.

В художественном хронотопе «Зимних заметок» отсутствуют значимые эпизоды реального путешествия Достоевского.

Он утаил от читателей, но не скрыл от агента III отделения свои визиты Герцену в Лондоне: тот сразу донес начальству,

что Достоевский «свел там дружбу с изгнанниками Герценом и Бакуниным» (ЛН1973, 596)³. Было несколько встреч Герцена и Достоевского, сколько точно — сказать трудно, но не менее трех (первое посещение 4 июля, затем на следующий день была встреча с Герценом и Бакуниным, третья — прощальный визит 7 июля, когда Герцен подарил Достоевскому свою фотографию «в знак глубочайшей симпатии» (Герц30; 27. 2, 564).

Достоевский не собирался писать о встречах с Герценом, и брат предупреждал: «пиши цензурнее», да и сам автор это понимал.

Зачем Достоевский встречался с Герценом?

К Герцену ездили, заезжали, приезжали, встречались с ним многие русские путешественники, большинство — чтобы составить заговор, участвовать в борьбе против правительства, готовить революцию.

На следующий день после визита Достоевского Герцен писал Н. Огареву 6/18 июля:

Вчера был Достоевский — он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиазмом в русский народ (Герц30; 27. 1, 248).

Отчужденная симпатия отзыва подсказывает, что стояло за визитом. Достоевский пытался переубедить Герцена, обратиться его к народу, увлечь его почвенническими идеями, убедить в том, что не революция, а всесловное (синтез словий) мирное согласие составит будущее России. Он стремился посвятить Герцена в свои убеждения, представить их как альтернативу западному либерализму и революции.

С Герценом у него возникли приятельские отношения, идейные и политические разногласия не мешали им встречаться, спорить, общаться. Герцен терпимо относился к мессианизму Достоевского, к его пророчествам, к его учительству.

Мил, наивен, «верит с энтузиазмом в русский народ» — таков взгляд Герцена на Достоевского.

В «Зимних заметках» Достоевский не описывает вторую часть своего путешествия, когда он вместе со Страховым путешествовал по Швейцарии и Италии, около десяти дней они жили во Флоренции. Беседовали, спорили, пока не dospорились

до того, что рассорились, позже внешне помирились, но былой дружбы между ними уже не было никогда.

Поводом для выяснения отношений стал разный ответ на вопрос, сколько будет дважды два (подробнее об этом см.: 4, 109—114).

По правилам арифметики — четыре. Страхов настаивал на непреложности «математических истин», считая их законами бытия. Достоевский обличал здравомыслие и заблуждения критика.

Позже Страхов с недоумением вспоминал в своих «Наблюдениях»:

В одну из наших прогулок по Флоренции, когда мы дошли до площади, называемой Piazza della, и остановились, потому что нам приходилось идти в разные стороны, — вы объявили мне с величайшим жаром, что есть в направлении моих мыслей недостаток, который вы ненавидите, презираете и будете преследовать всю свою жизнь. Затем мы крепко пожали друг другу руки и разошлись (ЛН1973, 560).

Вскоре Страхов уехал в Париж, Достоевский отправился в Венецию, оттуда в Вену и Петербург.

В споре с критиком Достоевский отрицал заурядный эмпиризм, очевидности эвклидоваго мира, здравый смысл. На самом деле в живой природе, в человеческих и социальных отношениях дважды два не всегда четыре. В рыночной экономике дважды два зачастую не четыре. Там действуют другие законы и факторы, которые не просчитываются ни арифметикой, ни алгеброй. Что-то можно подсчитать по правилам арифметики, что-то — по алгебраическим уравнениям, но типична ситуация: материальные и трудовые затраты рассчитаны арифметически, а товар не продается или продается в убыток. В социальных отношениях взаимодействие людей имеет еще и синергетический эффект, когда четыре человека делают больше сотни или тысячи людей.

В ответе на вопрос, сколько будет дважды два, было то, что неизбежно разводило Страхова и Достоевского. Страхов был зауряден: начитан, умен — и только. Достоевский требовал от Страхова, чтобы тот видел в насущном то, что пророчит будущее, считался с неоднозначностью очевидного,

он хотел, чтобы Страхов был гением — стал Достоевским. Страхов этого не мог и не хотел.

Обо всём этом Достоевский умолчал, но их спор, сколько будет дважды два, стал одним из лейтмотивов «Записок из подполья» (1864), продолжился в полемических заметках Страхова «Из Рима» (1875) и «Трех письмах о спиритизме» (1876).

Описывая путешествие, Достоевский избегает описаний и обстоятельных рассказов.

Первые четыре главы идет вагонная болтовня на самые разные темы, в основном о русских путешествиях и путешественниках, почему разнятся «русская» и «европейская» Европа. По Достоевскому, есть две Европы. «Русская» Европа — это идеальное представление русских о Европе, которое наиболее ярко выразил славянофил Хомяков: «страна святых чудес». «Европейская» Европа — это настоящая, реальная Европа, с которой сталкивались русские путешественники в XVII—XIX вв., которую увидел сам Достоевский.

Достоевский иронизирует над русским восприятием «европейской» Европы. Так, в трех главах из четырех он обсуждает скандальную фразу Дениса Фонвизина о том, что «рассудка француз не имеет, да и иметь его почел бы за величайшее для себя несчастье» (Д18; 4, 314). Автор увлеченно анализирует это абсурдное суждение Фонвизина, ставя проблему русского литературного антизападничества по отношению к Европе.

Рассказывая о заграничных впечатлениях, Достоевский подмечает одну характерную особенность — превращение стран «европейской» Европы в полицейские государства: путешественники попадают под откровенный надзор шпионов.

Пятая глава рассказывает о поездке автора в Лондон, последние главы — о пребывании в Париже.

Художественный хронотоп разительно отличается от реального путешествия.

Как реальное преобразуется в художественное? Какую сверхзадачу Достоевский решает?

Почему бы ему не описать подробно то, что он видел, дать очерк нравов, поделиться своими наблюдениями над жизнью европейской Европы?

Достоевский был наблюдательным и интересным рассказчиком.

О чем его путевые заметки?

Достоевский иронично описывает лондонские впечатления. В Лондоне был, а Собор Святого Павла не посетил.

В пространном пассаже автор просит прощения у Собора Святого Павла, что он не уделил ему должного внимания: видел издалека, а внутри не побывал, потому что стремился в Пентонвиль:

Ведь говорят же вот, что быть в Риме и не видеть собора Петра невозможно. Ну так посудите же: я был в Лондоне, а ведь не видал же Павла. Право не видал. Собора св. Павла не видал. Оно конечно, между Петром и Павлом есть разница, но все-таки как-то неприлично для путешественника. Вот вам и первое приключение мое, не доставляющее мне большой славы (то есть я пожалуй и видел издали, сажень за двести, да торопился в Пентонвиль, махнул рукой и проехал мимо (Д18; 4, 314).

Кое-что нуждается в пояснении. Пентонвиль — знаменитая лондонская тюрьма, построенная в начале XIX в. Тюрьма интересовала Достоевского больше, чем Собор Святого Павла или Британский музей.

Чем Пентонвиль примечательнее Собора Святого Павла?

Для других путешественников, вероятно, ничем не замечателен, но Достоевский стремился увидеть именно Пентонвиль, комплекс из пяти тюремных зданий, одно из достижений пеницитарной системы того времени. В учреждениях этого типа были лучшие на то время санитарные условия содержания заключенных. Тюрьма интересовала Достоевского больше, чем другие достопримечательности Лондона. В Пентонвиле он побывал, все осмотрел, но не высказался по поводу самой технологичной на то время тюрьмы, что само по себе знаменательно. Фигура умолчания красноречива: условия содержания не решали ни проблему преступления, ни задачу исправления преступника. Достоевский мог бы сказать, но не высказал свое особое мнение по поводу наказаний

за преступления и исправления преступников. Определенно, что общего энтузиазма по поводу Пентонвиля путешественник не разделил: бывший каторжник не восхитился Пентонвилем.

Лондон в целом произвел на него ужасное впечатление:

Этот день и ночь суетящийся и необъятный как море город, визг и вой машин, эти чугузки, проложенные поверх домов (а вскоре и под домами), эта смелость предприимчивости, этот кажущийся беспорядок, который в сущности есть буржуазный порядок в высочайшей степени, эта отравленная Темза, этот воздух, пропитанный каменным углем, эти великолепные скверы и парки, эти страшные углы города, как Вайтчапель, с его полуголым, диким и голодным населением. Сити с своими миллионами и всемирной торговлей, кристальный дворец, всемирная выставка... (Д18; 4, 332).

Среди лондонских достопримечательностей Достоевский отмечает Хрустальный дворец, который был выстроен из стекла и металла ко всемирной выставке 1851 г., позже перенесен на новое место, где с 1854 г. находилась постоянная экспозиция достижений мировой цивилизации. Это то самое здание, которому мечтал показать язык подпольный парадоксалист, герой «Записок из подполья».

Описание Достоевского иронично, без обычных для того времени восторгов. И здание, и экспонаты, и посетители, толпы людей, которые съезжаются со всего мира, вызвали у Достоевского не восхищение, а ужас. Писатель объясняет — почему. Для Достоевского то, что он видел, нечто свершающееся по Апокалипсису:

Да, выставка поразительна. Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира в едино стадо; вы сознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество. Вы даже как будто начинаете бояться чего-то. Как бы вы ни были независимы, но вам отчего-то действительно становится страшно. Уж не это ли в самом деле достигнутый идеал? думаете вы; не конец ли тут? не это ли уж и в самом деле «едино стадо». Не придется ли принять это и в самом деле за полную правду и занеметь окончательно? Все это так торжественно, победно и гордо,

что вам начинает дух теснить. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно текущих сюда со всего земного шара — людей, пришедших с одной мыслью, тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из апокалипсиса, в очию совершающееся (Д18; 4, 332).

Это завершение истории, триумф машинной цивилизации, в которой теряется человек и которая не оставляет ему будущего.

Цена этого «прогресса» — превращение народа в толпу, которую автор видит на лондонских улицах. Глава о Лондоне не случайно названа «Ваал». Это имя божества, в угоду которому для достижения материального благосостояния когда-то «во время оно» приносили человеческие жертвы. По Достоевскому, в жертву техническому прогрессу и комфорту машинной цивилизации принесен человек: народ превращается в толпу работников, блуждающих в злчных местах в поисках удовольствий. В пятницу и субботу улицы заполняет пьяная толпа, выходящая из пабов, женщины торгуют собой, брошенные дети пристают к прохожим. Это, наконец, ужасное зрелище: маленькая избитая несчастная девочка лет шести, которая шла по улице, жестикулировала и что-то говорила себе, Достоевский дал ей полшиллинга, она изумилась щедрому подаянию и от страха, что у нее отнимут монету, бросилась бежать.

Из второй швейцарско-итальянской части путешествия остались лишь названия «мелькнувших» городов: «в Женеве, в Генуе, во Флоренции, в Милане, в Венеции, в Вене» и один застольный разговор.

Страхов вспоминал, что за обедом в флорентийской гостинице Pension Suisse (Via Tornabuoni), где они остановились, произошла сцена, которую описал Достоевский:

Помню до сих пор крупного француза, первенствовавшего в разговоре и действительно довольно неприятного. Но речам его придана в рассказе слишком большая резкость; и еще опущена одна подробность: на Федора Михайловича так действовали

эти речи, что он в гневе ушел из столовой, когда все еще сидели за кофе (Д1883, 244—245).

Увы, и после объяснений автора «Зимних заметок» мемуарист не понял причину «гнева» Достоевского.

«Довольно неприятный», по впечатлению критика, оратор, первенствовавший в разговоре, предстал в описании Достоевского

...французом, приятной и внушительной наружности, лет тридцати и с отпечатком в лице того необыкновенного благородства, которое до нахальства бросается вам в глаза во всех французах (Д18; 4, 345).

Он искренне удивлялся и не понимал, как, имея в своем распоряжении «двадцать миллионов казенных денег», Гарибальди не взял себе ни единого су: «Это почти невероятно!!» (Д18; 4, 345).

Автор возмущен:

Про Гарибальди конечно можно рассказывать все что угодно. Но сопоставить имя Гарибальди с хаптурками из казенного мешка, это разумеется мог сделать только один француз (Д18; 4, 345).

Придав «слишком большую», на взгляд Страхова, «резкость» речи оратора, Достоевский перевел свой демонстративный уход в обличительную риторику:

И как наивно, как чистосердечно он это проговорил. За чистосердечие разумеется все прощается, даже утраченная способность понимать и чутья настоящей чести; но заглянув в лицо, так и заигравшее при воспоминании о двадцати миллионах, я совершенно нечаянно подумал:

— А что, брат, если б ты вместо Гарибальди находился тогда при казенном мешке! (Д18; 4, 345—346).

Страхов не понимает причину морального гнева Достоевского, хотя автор всё прямо объяснил: нельзя красть, нельзя «оправдывать хаптурок из казенного мешка», подлость и порок возводить в добродетель:

Вы скажете мне, что это опять неправда, что все это только частные случаи, что и у нас точно так же происходит и что не могу же я ручаться за всех французов. Конечно так, я и не говорю про всех. Везде есть неизъяснимое благородство, а у нас может быть

даже и гораздо хуже бывало. Но в добродетель-то, в добродетель-то зачем возводить? Знаете что? можно быть даже и подлецом, да чутья о чести не потерять; а тут ведь очень много честных людей, но зато чутье чести совершенно потеряли и потому подличают, не ведая что творят, из добродетели. Первое разумеется порочнее, но последнее как хотите презрительнее. Такой катихизис о добродетелях составляет худой симптом в жизни нации. Ну, а насчет частных случаев я не хочу с вами спорить. Даже вся нация-то состоит ведь из одних только частных случаев, не правда ли? (Д18; 4, 346).

Пигасов, герой тургеневского романа «Рудин» (1856), съязвил в своем *bon mot*:

Какая разница между ошибкою нашего брата и ошибкою женщины? Вот какая: мужчина может, например, сказать, что дважды два не четыре, а пять или три с половиною; а женщина скажет, что дважды два — стеариновая свечка (Тург230, 214).

У Достоевского всегда получается так, как у тургеневских и «мужчин» и «женщин» одновременно, с той, впрочем, разницей, что вместо неверного числа или «стеариновой свечки» — Христос.

Есть один Закон — Закон нравственный (РГАЛИ. 212.1.5. С. 117)⁴.

В «Зимних заметках» нет «туристических» впечатлений, нет Страхова, спутника и товарища по путешествию, нет их непримиримого спора.

Реальный хронотоп «летних впечатлений» лишь обозначен, автор сознательно избегает подробных описаний своего заграничного путешествия.

Эта творческая задача неинтересна автору:

Вот уже сколько месяцев толкуете вы мне, друзья мои, чтоб я описал вам поскорее все мои заграничные впечатления, не подозревая, что вашей просьбой вы ставите меня просто в тупик. Что я вам напишу? что расскажу нового, еще неизвестного, нерассказанного? Кому из всех нас русских (т<о> е<сть> читающих хоть журналы) Европа не известна вдвое лучше, чем Россия? Вдвое я здесь поставил из учтивости, а наверное в десять раз (Д18; 4, 311).

В «Зимних заметках» другой сюжет, иная концепция пространства и времени.

Автору «нечего» писать о путешествии и достопримечательностях. Вместо этого он предлагает «вагонную болтовню» о русском отношении к Европе, о скандальном суждении Фонвизина, имеет ли француз рассудок, о скандалах Чацкого в фамусовском обществе, о Белинском и Чаадаеве, о русской литературе.

Повествование развивается в двух измерениях времени и пространства: «летом» и «зимой», в Европе и в России, в Лондоне, Париже и в Петербурге, в «европейской» и в «русской» Европе.

В Лондоне поклонение Ваалу откровенно и бесстыдно, в Париже сокровенно — буржуа «ёжится». Для него неприлично то, что откровенно в Лондоне. Достоевский анализирует нравы и состояние буржуа: тот корыстен, жаден, но хочет выглядеть благородным, приличным, любящим искусство, но всё, чем бы он ни занимался, ложь, как ложен Пантеон, в котором погребены великие люди Франции, герои нации. О каждом из них, в том числе и о Наполеоне, у автора имеются критические суждения.

Достоевский создает сатирический портрет буржуа.

В частной жизни буржуа предпочитает брак по расчету, в котором всё нацелено на увеличение состояния, устремлено к комфорту, позволительны любовники и любовницы.

Автор иронизирует над сентиментальностью буржуа, анализирует социально-философские причины, по которым не состоялась французская революция.

Она состоялась политически: монархия стала республикой, депутаты приняли декларацию и конституцию, по их приговору отрубили голову Луи XVI, вдове Капет, тысячам аристократов, потом революционеры стали рубить головы друг другу. Пришел Наполеон, вверг всех в непрерывные войны, потерпел поражение в московском походе и в битвах на полях Европы. Культ Наполеона, ставшего императором и превратившего республику в империю, — еще одна буржуазная иллюзия.

Не состоялись идеалы французской революции: свобода, равенство, братство. Исполнен лишь лозунг аббата Сийеса: третье сословие было ничем, станет всем. Буржуа стал всем,

но случилось не то, что ждали: падение искусства, культуры, морали (можно украсть, предать, прелюбодействовать в браке), всё можно, лишь бы было без скандала, чинно, «благо-родно».

«Зимние заметки о летних впечатлениях» — самое анти-буржуазное сочинение мировой литературы, но марксисты не случайно пренебрегают критикой Достоевского. Анализируя лозунги французской революции, Достоевский обращает внимание на то, что в буржуазном обществе есть разная свобода для тех, у кого есть и у кого нет миллиона. Те, у кого есть миллион, делают с теми, у кого его нет, всё что угодно, всё, что заблагорассудится в той или иной мере или степени. Такой же фикцией является и равенство. В буржуазном обществе нет ни свободы, ни равенства. Достоевский и марксисты совпадают в критике, но расходятся в объяснении явления.

Нет братства, потому что каждый — эгоист, каждый корыстен. В обществе преобладает вместо братства личное начало:

...оказалось начало личное, начало особняка, усиленного само-сохранения, самопромышления, самоопределения в своем собственном Я, сопоставления этого Я всей природе и всем остальным людям как самоправного отдельного начала, совершенно равного и равноценного всему тому, что есть кроме него. Ну, а из такого самопоставления не могло произойти братства. Почему? Потому что в братстве, в настоящем братстве, не отдельная личность, не Я, должна хлопотать о праве своей равноценности и равновесности со всем *остальным*, а все-то это *остальное* должно бы было *само* прийти к этой требующей права личности, к этому отдельному Я и само, без его просьбы, должно бы было признать его равноценным и равноправным себе, т<о> е<сть> всему остальному что есть на свете. Мало того, сама-то эта бунтующая и требующая личность прежде всего должна бы была все свое Я, всего себя пожертвовать обществу и не только не требовать своего права, но напротив отдать его обществу без всяких условий. Но западная личность не привыкла к такому ходу дела: она требует с бою, она требует права, она хочет *делиться* — ну и не выходит братства. Конечно можно переродиться? Но перерождение это совершается

тысячелетиями, ибо подобные идеи должны сначала в кровь и плоть войти, чтобы стать действительностью (Д18; 4, 340—341).

Достоевский проповедует:

Что ж, скажете вы мне, надо быть безличностью, чтоб быть счастливым? Разве в безличности спасение? Напротив, напротив, говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо в высочайшей степени, чем та, которая теперь определилась на Западе. Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть по-моему признак высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать при самом сильном развитии личности. Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может и сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы; к этому тянет нормально человека. Но тут есть один волосок, один самый тоненький волосок, но который если попадет под машину, то все разом треснет и разрушится. Именно: беда иметь при этом случае хоть какой-нибудь самый малейший расчет в пользу собственной выгоды. Например: я приношу и жертвую всего себя для всех; ну вот и надобно, чтоб я жертвовал себя совсем, окончательно без мысли о выгоде, отнюдь не думая, что вот я пожертвую обществу всего себя и за это само общество отдаст мне всего себя. Надо жертвовать именно так, чтоб отдавать все и даже желать, чтоб тебе ничего не было выдано за это обратно, чтоб на тебя никто ни в чем не избыточился. Как же это сделать? Ведь это все равно, что не вспоминать о белом медведе. Попробуйте задать себе задачу: не вспоминать о белом медведе и увидите, что он проклятый будет поминутно припоминяться. Как же сделать? Сделать никак нельзя, а надо, чтоб оно само собой сделалось, чтоб оно было в натуре, бессознательно в природе всего племени заключалось, одним словом: чтоб было братское, любящее начало, — надо любить. Надо чтоб самого инстинктивно тянуло на братство, общину,

на согласие, и тянуло, несмотря на все вековые страдания нации, несмотря на варварскую грубость и невежество, укоренившиеся в нации, несмотря на вековое рабство, на нашествия иноплеменников, одним словом, чтоб потребность братской общины была в натуре человека, чтоб он с тем и родился, или усвоил себе такую привычку искони веков. В чем состояло бы это братство, если б переложить его на разумный, сознательный язык? В том, чтоб каждая отдельная личность сама, безо всякого принуждения, безо всякой выгоды для себя сказала бы обществу: «мы крепки только все вместе, возьмите же меня всего, если вам во мне надобность, не думайте обо мне, издавая свои законы, не заботьтесь нисколько, я все свои права вам отдаю и пожалуйста располагайте мною. Это высшее счастье мое — вам всем пожертвовать и чтоб вам за это не было никакого ущербa. Уничтожусь, сольюсь с полным безразличием, только бы ваше-то братство процветало и осталось». А братство напротив должно сказать: «ты слишком много даешь нам. То что ты даешь нам, мы не вправе не принять от тебя, ибо ты сам говоришь, что в этом все твое счастье; но что же делать, когда у нас беспрестанно болит сердце и за твое счастье. Возьми же все и от нас. Мы всеми силами будем стараться поминутно, чтоб у тебя было как можно больше личной свободы, как можно больше самопроявления. Никаких врагов, ни людей, ни природы теперь не бойся. Мы все за тебя, мы все гарантируем тебе безопасность, мы неусыпно о тебе стараемся, потому что мы братья, мы все твои братья, а нас много и мы сильны; будь же вполне спокоен и бодр, ничего не бойся и надейся на нас» (Д18; 4, 341—342).

Для братства нужна любовь — любовь к человеку, любовь к ближнему. Не может быть братства без любви — и Достоевский напоминает заповедь Христа:

После этого разумеется уж нечего делиться, тут уж все само собою разделится. Любите друг друга и всё сие вам приложится (Д18; 4, 342).

Пафос его критики задан христианской проповедью: помни Новый Завет, следуй Нагорной проповеди.

Достоевский предлагает христианскую альтернативу принципам 1789 г., признает, что это утопия, но читатель должен знать, что этим заповедям следуют ежедневно, ежечасно миллионы людей на протяжении уже почти двух

тысяч лет мировой истории. Автор выразил идеал, к которому должно стремиться, чтобы по-настоящему достичь свободы, равенства, братства.

В «Зимних заметках» о «русской» и «европейской» Европе Достоевский проявил такую страстность в утверждении этого идеала, что можно дать лишь одно определение жанрового содержания его сочинения — *поэма*, вдохновенная *поэма в прозе*, *поэма о России*, прокламация писателем своих убеждений, его откровение в форме фельетонного обзора «летних впечатлений».

Ключевая проблема «Зимних заметок» — проблема «русского отношения» к Европе — осознана как *проблема выбора исторического пути России*. По Достоевскому, Россия должна избежать ошибок развития европейской цивилизации. Автор категорично отверг современную «общественную формулу» — «царство Ваала».

«Зимние заметки о летних впечатлениях» менее всего похожи на «путешествие», «путевые записки», очерки, заметки и т. п. Автор не стремился воссоздать реальное время и пространство, он создал *оригинальный* жанровый хронотоп, в котором реализована задача христианской проповеди. В фельетонной «болтовне» явлено Евангельское Слово, которое преображает и творит мир, указывает исход русского пути.

Примечания

- * Статья подготовлена в рамках реализации комплекса мероприятий Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг.
- ¹ Проблемный анализ этой категории исторической поэтики см. [1, 234–407; 5, 45–57; 3, 24–37].
- ² Здесь и далее художественные и иные источники цитируются в тексте статьи с указанием условного обозначения, тома и страницы по следующим изданиям:
- Герц30* — Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1954–1964. Т. 1—30.
- Д1883* — Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. I. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб, 1883. [838 с.: 332+376+122+8].
- Д18* — Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 18 т. М., 2003–2005. Т. 1-18.

ЛН1971 — Литературное наследство. Т. 83: Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради 1860—1881 гг. М., 1971. 728 с.

ЛН1973 — Литературное наследство. Т. 86: Ф. М. Достоевский: Новые материалы и исследования. М., 1973. 792 с.

Тур230 — Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М., 1980. Т. 5. 544 с.

- 3 В докладе III отделения «Нравственно-политическое обозрение за 1862 год» отмечено, что в начале лета Герцена посетили «следующие приезжие лица, большей частью мелкие журнальные писатели: Альбертини, Достоевский, Мартьянов, Писемский, Черкесов, Косаткин, Калиновский, Сатин, Стасов, Ковалевский, Давыдов и Ветошников». — Россия под надзором. Отчеты III отделения. 1827—1869 [Сб. док.] / Сост. М. В. Сидорина, Е. И. Щербакова. М., 2006. С. 586.
- 4 Ссылки на рукописные и архивные источники содержат указание на место, фонд, единицу хранения:
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусств.

Список литературы

1. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 504 с.
2. Брусовани М. И., Гальперина Р. Г. Заграничные путешествия Ф. М. Достоевского 1862—1863 гг. // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1988. Вып. 8. С. 272—292.
3. Захаров В. Н. «Вечное Евангелие» в художественных хронотопах русской словесности // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск; СПб., 2011. Вып. 9: Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 6. С. 24—37.
4. Захаров В. Н. Сколько будет дважды два, или Неочевидность очевидного в поэтике Достоевского // Вопросы философии. 2011. № 4. С. 109—114; англ. пер.: Zakharov V. N. What is Two Times Two? Or When the obvious is anything but obvious in Dostoevsky's Poetics // Russian Studies in Philosophy, 50(3), 24—33.
5. Фаликова Н. Э. Хронотоп как категория исторической поэтики // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск, 1992. Вып. 2: Художественные и научные категории. С. 45—57.

Vladimir Nikolaevich Zakharov

Ph.D., Professor of
Petrozavodsk State University
(Prospekt Lenina, 33, Petrozavodsk, Russian Federation)
vnz01@yandex.ru

THE POETICS OF THE CHRONOTOPE IN WINTER NOTES ON SUMMER IMPRESSIONS BY DOSTOEVSKY

Abstract: During the summer of 1862, Dostoevsky made his first trip abroad across Europe. This journey was reflected in his feuilleton *Winter Notes on Summer Impressions* (1863), as well as in the memoirs and letters of the author and other persons. In some cases one can describe the trip of Dostoevsky not only day by day, but hour by hour. The literary chronotope is very different from the real journey. Dostoevsky only designated the facts: he described his thoughts during travels, made occasional travel notes, recounted in detail about his Paris and London impressions, and concealed his visit to Herzen and philosophical dispute with Strakhov. There are no «tourist» descriptions in *Winter Notes*. The narrative develops in two dimensions of time and space: in «summer» and «winter», in Europe and Russia, in London-Paris and Petersburg, in «European» and «Russian» Europe. The key problem of *Winter Notes* is the problem of the «Russian attitude» to Europe, which is interpreted as the problem of the choice of Russia's historical path. Dostoevsky created a satirical image of bourgeois Europe. The author offered an alternative to the principles of 1789. His pathos is determined by Christian sermon. Dostoevsky was hoping that the outcome of the Russian way was in adherence to the Sermon on the Mount.

Keywords: Dostoevsky, Bakhtin, journey, essay, feuilleton, the poetics of the genre, chronotope, paradox, Christian sermon.

References

1. Bahtin M. M. *Issues of Literature and Aesthetics* [Voprosy literatury i estetiki]. Moscow, 1975. 504 p.
2. Brusovani M. I., Gal'perina R. G. Fyodor Dostoevsky Overseas Travel, 1862—1863 [Zagranichnye puteshestvija F. M. Dostoevskogo 1862—1863 gg.] *Fyodor Dostoevsky: Materials and Research* [Dostoevskij. Materialy i issledovanija]. Leningrad, 1988. Vol 8, pp. 272—292.
3. Zakharov V. N. "Eternal Gospel" in chronotopes of Russian literature [«Vechnoe Evangelie» v hudozhestvennyh hronotopah russkoj slovesnosti] *Problems of historical poetics. Petrozavodsk, St. Petersburg, 2011. Vol. 9: The Gospel text in Russian literature of the 18th—20th centuries: quotation, reminiscence, motif, plot, genre* [Problemy istoricheskoy pojetiki].

Petrozavodsk; SPb., 2011. Vyp. 9: Evangel'skij tekst v russkoj literature XVIII—XX vekov: citata, reminiscencija, motiv, sjuzhet, zhanr. Issue 6, pp. 24—37.

4. Zakharov V. N. What is Two Times Two? Or When the obvious is anything but obvious in Dostoevsky's Poetics. *Russian Studies in Philosophy*, vol. 50(3), pp. 24—33.
5. Falikova N. E. Chronotope as a category of historical poetics [Hronotop kak kategorija istoričeskoj pojetiki]. *Problems of historical poetics* [*Problemy istoričeskoj pojetiki*]. Petrozavodsk, 1992, vol. 2, pp. 45—57.